А. Убогий

SCRIBO ERGO SUM.

Порой меня спрашивают – да и я сам спрашиваю себя – а зачем я пишу? Все попытки ответить в житейски-обыденном плане, как мы отвечаем на большинство возникающих перед нами вопросов, будут неубедительны, а то и попросту лживы. Ну, в самом деле: не из-за денег же я перепортил, за тридцать пять лет, целую гору бумаги, и потратил на это так много сил, нервов и времени? «Литературных» денег – если какие-то крохи время от времени и перепадали – хватало, разве, на скромные посиделки с друзьями.

Так, может быть, я писал и пишу ради славы? В двадцать лет я, возможно, и поколебался бы, отвечая на этот вопрос: что таить, честолюбие свойственно юности. Но годы шли, книг, написанных мною, всё прибавлялось, однако ни с чем, хотя бы отдалённо похожим на славу в обычном её понимании, я так и не встретился – ограничившись, как говорится, широкой известностью в узких кругах.

Но писать, тем не менее, я продолжаю – зачем? Если это нелёгкое дело не приносит ни денег, ни славы – забирая при этом большую часть жизни – то какая нужда или сила заставляет меня почти каждое утро садиться к столу, чтобы начать день с написанных и зачёркнутых строчек? Этот вопрос стоит предо мною вот уже тридцать пять лет, и я ныне так же мало способен дать внятный ответ на него – как и в дни своей юности. Но и оставить его без попытки ответа я не могу: это было бы бегством от самого же себя.

И вот я подумал: если прямой и короткий ответ невозможен – то не пойти ли окольным путём? Не попытаться ли вспомнить о том, как я начал писать, о том, что я чувствовал и сознавал в те далёкие годы – чтоб из рассказа о собственном литературном начале, возможно, увидеть: что заставляло меня брать в руки перо и выводить на бумаге слова?

Вспоминаются сумерки. Отчего-то начало моей самостоятельной жизни – с тех самых пор, как я покинул родительский дом и поселился в общежитии медицинского института – было именно сумрачным, погружённым в невнятную смесь тьмы и света, яви и сна, бытия – как сказал бы философ – и небытия. Сумрачны были и пробуждения в комнате номер двенадцать – холодной и гулкой, с высокими потолками и серыми наледями на подоконнике – сонно-угрюмыми были студенты, бредущие утром по сумрачным коридорам общаги, сумрачны были ноябрьские серые улицы города, по которым тянул непрерывный и злой, пыльный ветер, сумрачны были залы анатомички, где на стенах висели портреты суровых великих анатомов, а в углу стоял желтоватый – тоже не очень весёлый – скелет; сумрачен был, наконец, формалином пропитанный труп, что лежал на столе, посередине учебной комнаты. Вообще, весь тот мир, в котором я жил в те давнишние годы (а уже началось и стремительно таяло последнее десятилетие советской эпохи), был, как я вспоминаю сейчас, окутан именно сумерками. Что ни возьми – вокзалы и улицы, обстановку столовых или пивных, коридоры различных контор, одежду людей или их, людей, лица – всё было серым и пыльным, изношенным и малокровным.

Да и у меня самого, шестнадцатилетнего юноши – не сказать, чтобы было светло на душе. И вот как о предметах, погружённых в сумерки, трудно понять, возникают они из потёмок или, напротив, растворяются в загустевающей тьме (всё зависит от времени суток) – так же и про себя самого я не мог точно сказать: исчезаю я – или рождаюсь? Растворяюсь ли я в этой сложной, густой, разъедающей смеси под названием «общая жизнь» – или, напротив, пытаюсь как-то выделиться из неё, нащупать то зыбкое и неуловимое – но при этом мучительно необходимое мне – что называлось: «я сам»? Можно сказать, тот конфликт, под знаком которого проходил весь трагический русский двадцатый век – конфликт личности и коллектива – он разрывал моё юное сердце и мою неокрепшую душу. С одной стороны, я хотел верить тому, во что предлагалось и полагалось поверить – то есть, в безусловную правоту коллектива и истину «общего дела»; но, с другой стороны, сердце чуяло в этом некий подвох и подмену, и всячески сопротивлялось тому, чтоб раствориться, всецело и без остатка, в сумерках коллективного существования.

Не из этой ли непрерывной и тяжкой борьбы – борьбы с собою самим за себя самого – и появилось во мне это странное и полуосознанное желание: взять лист бумаги и что-то на нём написать? Причём написать не то, что требовалось от меня, как студента – конспект, скажем лекции или выдержку из учебника – а написать то, что хотел бы и мог написать только я сам (хоть я толком и не понимал, кто такой этот «я», что он хочет и что ему нужно). Так беременным женщинам порою чего-то мучительно недостаёт, и они, в бессознательных поисках этого «недостающего», начинают есть землю или куски известковой побелки. Я, в сущности, тоже тогда был беременным – но собою самим, то есть собственной личностью, пусть пока неоформленно-слабой, но уже ощущавшей глубинный, мучительный долг стать собой, сказать своё слово…

Но это сейчас я пытаюсь облечь то, что происходило со мной, в форму более-менее внятных мыслей и фраз; тогда же, в юности, это выглядело просто комично. Я шёл в читальный зал студенческой библиотеки – она называлась «Аквариум» из-за круглых, как корабельные иллюминаторы, окон – усаживался за пустующий стол, клал перед собою раскрытый учебник или анатомический атлас – а рядом с этим учебником, как бы в его тени, пристраивал лист бумаги, на котором и пробовал написать это самое «нечто своё».

Вы спросите: что это было – «нечто своё»? И почему я так опасался, что кто-то, не дай Бог, заметит, чем я занимаюсь? Если ко мне приближался знакомый, я тут же совал свой листок под учебник и делал вид, что учу анатомию – то есть занимаюсь законным, дозволенным делом. А если случалось, что мой злополучный листок замечали и небрежно спрашивали: «Конспектируешь?» – то я поспешно кивал: «Конспектирую…»

Чего я стыдился? Но я чувствовал: то, чем я сейчас занимаюсь, есть дело настолько интимное, что мне легче пройтись по читальному залу в чём мать родила – нежели взять, и прилюдно признаться, что я – страшно вымолвить! – сочиняю рассказ…

А иногда мне казалось, что я, наклоняясь над бумажным листком или пряча его под учебник, заслоняю рукопись не только от глаз однокурсников – но прячу и от сурового взора общаги, чьи пять этажей тяжело громоздятся буквально за моею спиной. Да, общежитие наше стояло впритык к библиотеке – и от неё, от общаги, было куда трудней утаить, что один из её питомцев затеял, по сути, измену: он пошёл своим собственным, независимым и одиноким, путём.

Но стыд и смутное осознанье того, что я дезертирую из рядов общей жизни – потому что чувствую зов куда более глубинного и изначального долга – это всё было ничто по сравнению с ужасом собственной немоты, с невозможностью выразить то, что ты хочешь и должен сказать. Я ведь не только не знал, к а к сказать то, что нужно – но я не знал: ч т о же именно я должен сказать? Это было, как в той сказке – «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что» – это было задачей, которую я был обязан исполнить, ещё даже не зная, в чём именно она состоит. Но задание, которое и само возникает в процессе своего выполнения – это и есть сущность творчества: сотворенье небывшего, или «прирост бытия», по выражению Николая Бердяева.

Правда, о Бердяеве мы тогда и слыхом не слыхивали: идеология общего существования на дух не переносила это свободолюбивое имя. Мучиться собственною немотою приходилось, как всякому пишущему, в одиночку; и, как всякому пишущему, приходилось испытывать тот самый «страх перед чистой страницей», который, в своей глубине, есть ужас сознанья того, что ты, уже вроде бы и присутствуя в мире – ещё как бы не существуешь, ещё не доказал своей принадлежности к полноценному бытию.

О чём я пытался писать – изнывая, под сумрачным взором общаги, от одиночества и немоты? Поначалу это были записи о тех состояниях жизни, в которых мне чудилось нечто, прорывавшее саму ткань реальности – обветшалую, пыльную, сильно побитую временем ткань – и выводившее душу туда, где было больше свободы и радости. Я пытался писать то о джазовой музыке – об отважной и обречённой атаке трубы, о лоснящихся потом щеках трубача, о блужданьях синкоп, словно ищущих выход из плена реальности – то о снегопаде в морозный и солнечный день, когда снежные иглы, искрясь, возникают из синего воздуха и плывут в лучах низкого солнца, оседая – ну, как же без этого! – на ресницах какой-нибудь девушки, чьи глаза влажно мерцают, а каблучки оглушительно-резко скрипят по морозному снегу… Или писал, например, как огни семафоров отражаются в переплетениях рельс – я любил вечерами ходить на вокзал и смотреть, с переходных мостков, на пути, тепловозы, вагоны, пакгаузы, стрелки – как весь этот железнодорожный чугун горячо дышит угольной гарью и креозотом, и как в душе человека, который всё это видит и чувствует, ноет сладкая боль от желания ехать и ехать – неважно, куда…

Но это сейчас из-под моей руки (всё-таки поднаторевшей в лирических описаниях) выходят более-менее складные фразы; тогда же, когда я начинал, всё то, что ложилось на клетки тетрадных листов, было вялым, зажатым, беспомощным и безнадёжным. И это тем более заставляло меня скрывать от знакомых свои литературные «штудии»: не хватало ещё всем узнать, что я не просто пишу – а пишу совершенную чушь!

Промучившись, в безнадёжных попытках начала, что-то около года, я написал нечто, показавшееся мне достойным чужого внимания. Это был рассказ под названием «Счастливый человек», в котором описывался день молодого прораба-строителя из небольшого посёлка (подразумевалось Стодолище, где мы летом работали в стройотряде) – день, заполненный самыми заурядными событиями и делами; но само постоянство и привычная незамысловатость этих обыденных дел представлялись мне неким подобием счастья. Позже я встретил у Джойса краткую формулу моего тогдашнего замысла: автор «Улисса» определил эту тему, как «величие тривиального». И, хоть на славу великого дублинца я не претендовал, но понёс-таки свой трёхстраничный рассказ в редакцию областной газеты. Называлась газета «Рабочий путь», а помещалась её редакция в здании обкома партии – главном здании города. О чём я думал и на что надеялся, входя со своими листками в это монументальное здание – оплот как раз той идеологии коллективного существования, против которой я неосознанно протестовал в своих одиноких писаниях? Сейчас-то мне просто смешно вспоминать того застенчиво-угрюмоватого юношу восемнадцати лет, который ступает по сумрачной лестнице, ищет редакцию, а затем с трудом открывает тяжёлую дверь с табличкой «Отдел культуры». Но тогда мне было не до смеха и не до иронических наблюдений. А жаль – ибо взгляд отстранённой иронии мог бы очень помочь при моём первом знакомстве с лицом, так сказать, официальной культуры. Представлял это лицо угрюмый, одутловатый и серый мужчина в костюме и туго подтянутом галстуке – который взглянул на меня исподлобья, с такой откровенною неприязнью, как будто его затошнило от одного моего появления. Теперь-то я понимаю, что этот работник культуры, скорее всего, был с тяжёлого, что называется, «бодуна»; и, принеси я, вместо рассказа, бутылку «Столичной» – мы вполне могли бы расстаться друзьями. Но я принёс то, что принёс – и положил своего «Счастливого человека» на лакированный, тоже очень недружелюбно настроенный, стол.

Обречённо вздохнув, человек с серым лицом тут же начал читать, не предложив мне даже присесть. Вот, наверное, с тех самых пор я и не выношу, когда при мне читают что-то моё: потому что немного бывало в моей жизни минут столь же тягостных и мучительно-длинных. Но читателю моего рассказа было, видимо, ещё хуже, чем мне: он тяжко вздыхал, тёр лоб рукой и становился мрачнее с каждой минутой. Никогда б не подумал, что чтение прозы способно настолько воздействовать на человека: казалось, что моего визави вот-вот стошнит на его лакированный стол. Наконец последний листок рассказа выпал из его пальцев, и мужчина спросил сиплым голосом:

- Что это?

- Рассказ… - ответил я столь же сиплым и столь же страдающим голосом.

- М-м-м… - застонал, как от зубной боли, работник культуры. – И о чём же ваш этот… рассказ?

- Он ни о чём, - сказал я честно, и зачем-то добавил, – Он, скорей, против.

- Да? – мой собеседник с удивлением поднял одну бровь (поднять обе у него, видимо, не было сил). - И против чего же?

- Он против ядерной войны, - произнёс я, с облегчением осознавая, что говорю очевидную глупость, и что ноги моей больше не будет в этом отделе культуры.

Человек в галстуке хмыкнул и пододвинул мне рукопись:

- Знаете, что: а идите-ка вы…

Я бы нисколько не удивился, если бы он послал меня на три общеизвестные буквы; но в последний момент мой собеседник сдержался и смягчил выражение:

- А идите-ка вы… в литературное объединение!

Я выходил из редакции со странным и смешанным чувством только что пережитого унижения, но и с ощущением вдруг открывшейся мне – очень важной и нужной – свободы. И я тогда твёрдо решил, что никогда, ни за что не вернусь не только в это здание или эту газету – но никогда в жизни не пойду ни в какое литературное объединение.

После визита в «Рабочий путь» – с которым, как оказалось, мне вовсе не по пути – я продолжал жить странно раздвоенной жизнью. Один «я» был правильным медицинским студентам, и предавался всем наслаждениям юности: учился и скромно кутил в ресторанах, тренировался (я был неплохим бегуном) и, как положено, волочился за девушками. Другой же «я» словно бы наблюдал за всем этим со стороны, и думал: а как бы всю эту жизнь описать? Не то, чтоб она была уж такою особенной или интересной; но я смутно чувствовал, что жизнь, как она есть сама по себе – без стороннего взгляда, который её наблюдает, и без попыток её описать – такая жизнь проходит словно впустую: она исчезает, как сон или дым.

Да ладно студенчество – время, сказать откровенно, почти всегда и у всех беспечное и бестолковое; но даже тогда, когда я получил медицинский диплом и вернулся в Калугу, чтобы работать врачом – даже тогда меня не оставляло странное ощущение пустоты и никчёмности собственной жизни. Но это уж было и вовсе необъяснимо. Ведь я пропадал дни и ночи в больнице, я постигал хирургию со всей пылкостью и энергией молодости; я заявлялся домой лишь затем, чтоб поесть, да поспать; я бредил типами хирургических швов и названиями инструментов; даже ночами мне снилось, что я оперирую – и, как во всяком кошмаре, с ужасом вижу, что делаю что-то непоправимое, но уже не могу ни исправиться, ни остановиться…

И вот вся эта жизнь, полная и настоящей работой, и смыслом, который нельзя отрицать – уж если работа хирурга бессмысленна, то бессмысленно всё вообще – вся эта полная и напряжённая жизнь тоже порою казалась мне сном или грёзой. Так и думалось: вот проработаю я лет, скажем, сорок, соберусь уходить на покой – и что вспомню тогда, оглянувшись в былое? Возможно, и вспомнить-то мне будет нечего, кроме лязганья ножниц и хруста зажимов, кроме брызганья крови из раны и скрипа узлов лигатур – да ещё, разве, глаз операционных сестёр над белыми масками …

А вот стоило мне склониться над чистой страницей – всегда ранним утром, когда только брезжил рассвет – и попытаться оставить на ней хотя бы несколько строк – вот тогда моя жизнь (да и жизнь того мира, который меня окружал) становилась, в моих глазах, чем-то реальным и несомненным. Конечно, такое «восстановленье реальности» происходило далеко не всегда – чаще я перечёркивал то, что написано, и шагал на работу в больницу, как бы спасаясь от собственного бессилия и немоты – но порою я всё же встречался с реальностью (то есть, по сути, с самим же собой); и все эти встречи происходили на белом, в помарках и строчках, бумажном листе.

За год после института я написал шесть небольших рассказов. И писались они, прямо скажем, мучительно. Это было похоже, уж если прибегнуть к избитой метафоре, на бесконечные роды, когда я пытался родить из себя – самого же себя. И та общая жизнь, отношения с которой я так непросто и долго выяснял в годы студенчества – она здесь была уже ни при чём: советская империя, с её коллективной идеологией, быстро катилась к упадку. Корень проблемы лежал куда глубже: он был скрыт в тех пластах бытия, где из первоначальной немОты рождается нечто – в нашем случае, возникают слова на бумаге. Писание – это, по выражению Тютчева, «второе грехопадение нашего бедного разума» – воспринималось мною одновременно, как долг – и соблазн. Начиная писать рассказ, я смутно чувствовал, что касаюсь чего-то такого, чего я пока недостоин, что могу замарать своим неумелым и грубым прикосновением; но, стоило мне отказаться от литературных попыток, и неделю-другую вообще не садиться к столу – как я ощущал себя дезертиром, покинувшим поле сражения.

Итак, я произвёл на свет шесть рассказов. Мой «новорожденный» был едва жив, чуть дышал, и на него трудно было смотреть без жалости, переходящей в брезгливость: именно так смотрел на эти рассказы я сам. Но этот «заморыш» вызвал сочувствие ещё кое-кого – и, в первую очередь, моего отца, настоящего, уже безо всяких сомнений и оговорок, писателя. Повздыхав – сына было всё-таки жалко: уж очень за тяжкое и почти безнадёжное дело он взялся – отец показал мои опусы своим литературным знакомым – и те, как ни странно, отозвались вполне одобрительно. Дело дошло до того, что я начал собирать рукопись на Всесоюзное совещание молодых литераторов – и стал проводить целые вечера и все выходные дни за перепечатыванием и кропотливою правкой своих первых рассказов.

Детям компьютерной эры трудно представить, что это такое: подготовка машинописных копий литературного текста (которые тоже, по инерции, назывались «рукописями»). Им трудно представить даже то, как выглядела и как работала пишущая машинка – от которой у современных компьютеров осталась, разве что, клавиатура. В нашей семье таких машинок было две. Рукописи отца перепечатывала, в основном, моя мама – продолжая тем самым традиции семейства Толстых, где Софья Андреевна, несмотря на обременённость семьёю и бытом, без устали переписывала для своего великого мужа тысячи беспощадно исправленных им рукописных страниц. Моя матушка повторила – а в чём-то, возможно, и превзошла – трудовой подвиг Софьи Андреевны: ведь графине не приходилось пятьдесят лет работать врачом-психиатром, да ещё в отделении острых психозов.

Так вот матушка перепечатывала рукописи отца на немецкой машинке с женским именем «Эрика» – лёгкой, изящной и безотказной (какой и должна быть, по мнению многих мужчин, настоящая женщина). Мне же досталась «Москва», изделие отечественных мастеровых: тяжёлое и несуразное, как сама наша русская жизнь. Но, хоть каретка «Москвы» и была тяжела – допечатав строку, она с металлическим лязгом откатывалась, как орудийный затвор после выстрела – хоть рычаги «Москвы» то и дело слипались, и приходилось их разделять, пачкая пальцы о чёрную ленту – но даже «Москва» представлялась мне чудом техники. Как много в ней было деталей – разных кнопок, винтов, рычагов и заклёпок – как она, после удара пальцем по клавише, выбрасывала – словно в канкане! – изящную ножку-рычаг с крошечной буковкой на стопе, и от торопливого топота этих букв-ножек по чёрной, ползущей рывками и пачкавшей белый лист ленте – на этом бумажном листе отпечатывались слова…

И вот этот эффект превращения неразборчивых строк рукописи в отчётливый текст – он неизменно меня изумлял. Даже казалось, что твой рассказ уже вышел в свет – раз он лежит в напечатанном виде. Или мерещилось, что там, внутри корпуса, в сложном сцеплении рычагов, живёт некий дух – дух печатной машинки. И, если его как-нибудь разогреть-раззадорить – то он сможет печатать слова уже сам по себе, без оглядки на рукопись и на того, кто сидит за клавиатурой.

А ремонты «Москвы», с возвращеньем обратно на тяги слетевших пружин, с подгибанием тех рычагов, что слипались чаще всего, или с перемоткой скомкавшейся ленты? А чистка ватой со спиртом тех крошечных букв, которые засорились-забились настолько, что на месте некоторых отпечатывалось только чёрное пятнышко? А «копирка», которую было так трудно достать, что каждый копировальный лист использовался до предела – когда он становился прозрачен, словно крыло стрекозы, а недостаток пигмента на нём ты восполнял тем усердием, с каким колотил по разболтанным клавишам?

В общем, на целые годы «Москва» стала моим верным спутником и почти другом. Но машинописный текст, прежде чем посылать его куда-либо, надо было исправить от опечаток, огрехов, от лишних слов – надо было, как говорили, «вычистить» рукопись. И вот вся кропотливая трудоёмкость этого дела теперь тоже с трудом представима. Ведь как теперь правят компьютерный текст? Стёр ошибку, и написал заново букву, слово, строку – вот и вся правка. А некогда, в эру пишущих машинок, нужно было, найдя и отметив ошибки, распечатать «правильные» слова на отдельном листе, затем аккуратно их вырезать ножницами – и, окуная в клей спичку, сначала намазать, а после приклеить бумажку с исправленным словом поверх опечатки. А если ты захотел не просто убрать опечатки – а внести более серьёзную правку? Тогда приходилось перепечатывать и подклеивать целые строки или абзацы; с иных страниц свисала «лапша» из подклеенных строк.

Бывало, к концу такой нудной работы начинаешь прямо-таки ненавидеть собственный текст: до того он тебе надоел. И когда, наконец, отнесёшь рукопись на почту, а там её завернут в лист коричневой плотной бумаги, перехватят крест-накрест шпагатом, запечатают парой сургучных печатей, а потом бросят куда-то на полку, в сумрак почтовой кладовой – тогда ты испытаешь такое облегчение, словно у тебя, наконец, сняли камень с души. Подумаешь: «Ну, слава Богу! Как говорится: с глаз долой – из сердца вон. Надеюсь, что с этой рукописью, так мне надоевшей, я больше не встречусь – пусть она путешествует где-то, сама по себе…» Но я тогда был слишком наивен: оказалось, что рукописи не только не горят – но они ещё и возвращаются.

Да, они возвращаются: в их природе, похоже, есть что-то общее то ли с ночными кошмарами, то ли с угрызениями совести. Правда, та моя рукопись, что я отправил на Всесоюзное совещание молодых литераторов, ко мне не вернулась: я сам настиг её в Москве, жарким маем 1989 года.

В Оргкомитете сказали, что все, кто желает, чтобы их творчество обсудили на семинарах, должны разыскать и забрать свои рукописи (присланные, как и моя, по почте, со всех концов огромной страны) – а лежат эти рукописи в доме Союза Писателей, на третьем этаже, налево от лестницы. Что ж, заявился я на теперешнюю Поварскую (тогда она называлась улицей Воровского), в прославленный Львом Толстым «дом Ростовых». Пересёк круглый двор, по которому бродили, поодиночке и кучками, печальные и озабоченные люди разного возраста – это и были, наверное, молодые писатели – а затем поднялся по уютным старинным лестницам, на тот самый третий этаж. И что же я там увидел? В торце коридора, и впрямь налево от лестницы – не обманули! – была беспорядочно свалена груда бумаги. И по этой неряшливой груде, роясь в ней – буквально на четвереньках – ползали три некрасивые девушки с грустными лицами.

Действительно, было от чего опечалиться: в этой бумажной куче лежали сотни рукописей, каждая из которых была для их автора чем-то вроде ребёнка, любимого и долгожданного первенца. Сколько бессонных ночей, должно быть, проводили начинающие писатели – сочиняя, печатая и выправляя всё то, что сейчас высилось погребальным курганом макулатуры! Какие-то папки порвались, не выдержав всех испытаний, что выпали им на пересыльных этапах – и их содержимое лежало разрозненной россыпью мятых листов: как можно было спокойно на это смотреть? И я уж совсем был готов повернуться, уйти – не ползать же на четвереньках, вместе с печальными поэтессами? – но вдруг, бросив взгляд под ноги, увидел знакомую папку. Да, это была она, моя рукопись: словно услышав шаги хозяина, она отделилась от общей свалки, и из последних сил подползла ко мне. Так что ушли мы, в итоге, вдвоём: я – и изрядно потёртая папка с моими рассказами.

Что сказать о самом совещании? Проходило оно на северной окраине Москвы, в спортивном комплексе «Олимпийский». И вряд ли ещё когда-либо в одном здании собиралось такое количество литературно одарённых молодых людей. Интересно б узнать: как сложились их судьбы? Ведь с тех пор прошло, без малого, тридцать лет – и сменились эпохи. Многие ли из тех, кто шумели и спорили, пели и пили по коридорам, холлам и номерам «Олимпийского», остались и что-то сами оставили в литературе? Возможно, что и немногие: очень уж круто переломилась жизнь. Хотя, с другой стороны: может, именно литература и помогала людям держаться – когда всё вокруг рушилось? Ведь остаются, в конце концов, только слова; и можно считать то последнее Всесоюзное совещание чем-то вроде мобилизации войска, которому предстояло вот-вот отправляться в поход не просто в «незнаемые пределы», в чужие пространства – но в чужие, холодные и незнакомые времена…

Увы, «немного лиц мне память сохранила» – мало кого я могу отчётливо вспомнить из того молодого литературного ополчения, которое созывалось советской империей перед самым её, империи, крахом. Вспоминаю хорошего писателя и врача Ивана Алексеева, который меня подвозил до метро на своей, вдрызг разбитой, машине: в ней не было даже кресел, и сидеть приходилось на ржавом и громыхающем днище. Помню зеленоглазую, рыжую красавицу-калужанку Ирину Слепую, с которой мы всё подшучивали над нашими фамилиями.

- Вот только попробуй, Ирина – говорил я ей – не назвать свою первую книгу «Прозрение»!

- Хорошо! – хохотала она. – Но только после того, как ты, Убогий, назовёшь свою: «Исцеление»!

Вспоминаю омских поэтов – Марину Улыбышеву, Игоря Киселёва, Георгия Бородянского – и то, как мы с ними, выйдя на ночной балкон, орали монолог есенинского Хлопуши. А на соседних балконах тоже читали стихи, пели песни, спорили и объяснялись в любви – друг к другу и к литературе – и кто мог подумать, что этот громадный «Титаник», полный жизни, огней, голосов – вот-вот натолкнётся на неотвратимый айсберг истории?

Закончились далеко не все обсуждения и семинары – совещание было в самом разгаре – а я вдруг, проснувшись на неудобном диванчике в холле, где меня ночью свалили усталость и хмель, почувствовал: всё, пора уезжать. Зов одиночества, всегда звучащий во мне – и было притихший на фоне имперского литературного карнавала – сделался так силён и настойчив, что я поспешно умылся, взял сумку и вышел. Солнце только что встало; курился туман; громадное здание «Олимпийского» ещё спало мертвецким сном хорошо подгулявшего человека.

Чувствуя редкую бодрость – пора, пора было мне возвращаться в свой мир и в свою привычную жизнь! – я зашагал в сторону речного канала. Но тут же встретил Владимира Личутина, коренастого и ещё почти молодого: он шёл в «Олимпийский» – продолжать обсуждения начинающих. Я поздоровался. Личутин узнал меня – именно в его семинаре я накануне заслужил несколько похвальных слов мэтра – и удивлённо спросил:

- Куда это вы так рано?

- Пора на работу, - ответил я.

- А кем вы работаете?

- Хирургом.

- Да, это серьёзно, - уважительно покивал бородою Личутин. – А сколько вам лет?

- Двадцать пять.

- Ну-у… - автор «Раскола» махнул рукой, как бы отпуская меня на все четыре стороны. – У вас ещё всё впереди!

Действительно, у меня впереди было много всего; но кое-что было и позади: например, та страна и тот мир, в которых я вырос. До метро «Речной вокзал» тогда ходил катер – и я решил побаловать себя прогулкой по каналу имени Москвы. И вот когда я, опираясь о поручень, стоял на палубе катера и смотрел, как отдаляются травяной склон берега и дебаркадер – мне мерещилось, что от меня отплывает нечто большее, чем просто берег и пристань. Сейчас-то я понимаю, что удалялась, ни много, ни мало – эпоха, со всем её осязаемым и неосязаемым содержимым, и с теми людьми, что её создавали и обживали. Там, на другом берегу, оставались октябрятские звёзды и пионерские галстуки, ленинские субботники и кумачовые стяги над колоннами демонстрантов, оставался Гагарин со своим знаменитым шнурком на ковровой дорожке, оставалась «Пионерская правда» с «Советской Россией» – оставалось так много всего, что и жизни не хватит на то, чтоб припомнить все эти черты и детали эпохи.

И там, отдаляясь всё более, оставалась литературная жизнь – та, с которой я расставался в это погожее утро, ещё не успев толком встретиться. Эта жизнь была очень сложна и богата: в ней были издательства, книги, журналы с огромными тиражами, редакции и редакторы, критики и литературные объединения, были Всесоюзные совещания молодых литераторов – последнее из которых я как раз покидал – и в ней были, что самое главное, миллионы читателей. Такое уж точно никогда больше не повторится – и никогда рассказ или повесть, напечатанные в каком-нибудь толстом журнале, не будут, уже через несколько дней, предметом горячего интереса и обсуждения миллионов людей, от Камчатки до Калининграда.

Прошёл всего год с той поездки в Москву – и литературная жизнь сказала мне своё окончательное «прощай». В один день – это надо же так совпасть! – я получил по почте сразу две своих рукописи, вернувшиеся из московских издательств: одну из «Молодой гвардии», а другую из «Современника». Причём это были рукописи, уже имевшие положительные редзаключения: кто помнит тогдашние литературные правила, тот знает, что на этом этапе автор уже вполне мог праздновать выход книги и брать деньги в долг под будущий гонорар. А для молодого писателя выход двух книг во всесоюзных издательствах означал бы, что жизнь вполне удалась: и в плане материальном, и в отношении так называемой славы. И вот, полный сладких надежд, я получаю сразу два нокаутирующих удара. К вернувшимся рукописям прилагались короткие письма, примерно одинакового содержания: редакция-де, считает рукопись интересной и достойной издания, но из-за острого дефицита бумаги и урезания издательских планов, откладывает сотрудничество – до лучших, как говорится, времён.

Хорошо, что я тогда много работал в больнице, и на литературные переживания у меня не было ни досуга, ни сил: честно сказать, я толком и не осознал, что же именно произошло. Это уж после я догадался, что эти две тяжёлые бандероли пришли ко мне как бы из небытия – из того советского прошлого, в которое никому, никогда больше не возвратиться.

Но жизнь, как ей и положено, продолжалась. У нас с Еленой рос сын – сидя возле его кроватки и покачивая её, когда Димка плакал, я и написал свою первую повесть – и я сутками работал в больнице, а после дежурств, возбуждённый усталостью и недосыпом, шёл париться в наши калужские бани.

Появление их вот на этих страницах ничуть не случайно. Парилки Калуги сыграли важную роль не только во всей моей жизни – не знаю, как бы я выдерживал все её тяготы, не оказывайся время от времени под берёзовым веником, на горячем полке – но именно бани, можно сказать, открыли мне двери в литературу.

А было так. На одном из Пушкинских праздников в Полотняном заводе – это главное из событий калужской культурной жизни – я разговорился с Мариной Улыбышевой, поэтессой из Омска, как раз к тому времени перебравшейся в нашу Калугу. И, помню, начал рассказывать ей про калужские бани – действительно, уникальные бани, со своими особыми правилами, особой манерою париться, с веками отлаженным ритуалом и с особенным, можно сказать, мировоззрением. Я так увлёкся рассказом, что начал уже и размахивать воображаемым веником: меня подхватило, как говорилось встарь, крыло вдохновения. Марина слушала, то широко открывая глаза, то смеясь – пока, наконец, не сказала:

- Слушай, да ты вот про это самое и напиши!

Я удивлённо замолк, и в меня вдруг вошло осознанье того, до чего же громадная сила и истина заключается в этом, таком немудрёном, совете. Эта фраза, по сути, решила всю мою литературную жизнь и судьбу: я понял, что писать нужно только о том, что ты любишь. И я словно увидел, в каком-то пока размывчатом контуре и перспективе, образы всех своих будущих книг. И, пусть предмет описаний в них будет самым обыденно-скромным – таким, например, как калужские бани – но, если ты искренне любишь то, о чём пишешь, ты всегда найдёшь в этом предмете истину и красоту. И, что ещё важно – такой литературе не нужно ничего, кроме неё самой: она сама есть собственная цель. То есть не нужно ни публикаций, ни гонораров, ни славы: нужна лишь возможность писать то, что ты хочешь – по свободному зову души.

И вот как-то, в отпуске – выдался погожий сентябрь – я поехал с отцом в его родной Тим, небольшой посёлок на Курщине, где тогда ещё, слава Богу, жила моя бабушка Мария Павловна. Была у нас и конкретная задача – выкопать бабушкину картошку – но, кроме того, я надеялся взяться там за очерк о банях Калуги.

Жить и писать я устроился в дровяном сарае: половина его, от пола и до потолка, была забита дубовыми чурками – будущим топливом бабушкиной печи – а в другой половине едва помещались кровать, стул и стол под синей клеёнкой. Лучшего места для жизни и для работы у меня никогда не бывало: главное, я там был совершенно один, ничто бытовое меня не отвлекало (предметам быта в сарайчике просто-напросто не было места) – и, кроме того, на крышу время от времени с глухим стуком падали и катились антоновские яблоки, наполнявшие весь сарай своим упоительным запахом.

Я просыпался, едва начинало светать – от петушиного крика и бормотания горлинок, и ещё от желания поскорее сесть за работу. Пока закипал чайник, я делал в саду некое подобие утренней зарядки. Было ясно, свежо, и смородинные кусты, стоило задеть их рукой, осыпались дождём ледяной росы. Трудно сказать, что пахло сильнее: эти потревоженные смородинные кусты, пожухлая ботва на картофельных грядах – или антоновские яблоки, которые словно светились в траве под деревьями? Но скоро ко всем этим бодрым утренним запахам добавлялся ещё один: запах крепкого чая. И это был знак, что пора усаживаться за стол. На его синей клеёнке появлялась стопка тетрадных листов, дешёвая шариковая авторучка и чайная чашка: белая, в красный горошек, до краёв полная терпким дымящим настоем. Вот на этих трёх китах – бумага, ручка и чашка чая – и держалось моё утреннее мироустройство. Сделав пару глотков, я брал авторучку, медленно приближал её к синим клеткам бумаги – и окружающее отдалялось, а затем и вовсе переставало существовать. Больше не было ни дровяного сарая, ни синей клеёнки шаткого столика – а была приоткрытая дверца банной печи, малиново-сумрачный свет, исходящий от раскалённых камней, было звяканье шайки и плеск воды в ней, был бросок – и короткий, глухой выдох пара, от которого сумрак парной содрогался, а парильщики, тесно сидевшие на нижнем порожке, ещё сильнее склонялись и прятали лица в колени…

Ничего подобного раньше со мною не происходило. Мне больше не приходилось мучиться немотой и бессилием, подбирая слова: нет, слова теперь сами легко находили меня и вели за собой. Что писать, как писать – теперь вовсе не думалось: текст ложился строка за строкой так легко, как будто он и раньше существовал вот на этих тетрадных страницах – и теперь проступал на бумаге, как проявляются симпатические чернила.

Поразительно, но тот текст о банях, что я написал в эти бодрые, ясные утра в Тиму, мне вовсе не приходилось править – это при том, что обычно правлю я много, и мои рукописи пестрят помарками. За утро я писал по одной небольшой главе; всех глав получилось четырнадцать – вот и вышло, что за две недели отпуска я как раз закончил банную рукопись. Когда ставил точку и откидывался на спинку стула, завершая очередную главу – то с удивлением видел, что вместо туманного зябкого утра в Тиму царит уже солнечный и почти жаркий день. Петухи замолкали, зато горлинки бормотали почти беспрерывно; на кухне, через двор от сарая, гудел бабушкин примус, и сама она, во фланелевом тёмно-вишнёвом халате, хлопотала у разделочного стола, готовя нам с отцом завтрак. Я до сладкого хруста потягивался, выходил из сарая, подбирал с земли яблоко и сочно вгрызался в его сладко-кислую мякоть, с наслаждением чувствуя, что уж это-то яблоко я, без сомнения, заслужил.

После завтрака мы с отцом копали картошку, а после, смыв пыль и пот, шли в центр посёлка, к пивному ларьку. И вот эти пивные прогулки по Тиму, они были тоже честно заслужены – той утреннею работой, возбужденье которой ещё длилось во мне. И поэтому всё, что я видел, казалось особенно ярким и выпуклым, новым: можно было подумать, что я, отработав свои три-четыре часа, каким-то мистическим образом соучаствовал и в сотворении того ясного полдня в Тиму, по которому мы с отцом сейчас медленно шли, поддавая ногами сухую листву тополей. Отец, как тимской старожил, знал почти всех в посёлке, и сопровождал прогулку рассказами о послевоенном детстве, и о судьбах тех поселян, рядом с которыми ему довелось жить. Эти рассказы складывались, в своей совокупности, в целое эпическое полотно; до сих пор мне кажется, что отец мог бы выстроить из послевоенного Тима что-то вроде фолкнеровской Йокнопатофы, сложить неторопливо-подробную сагу об этих, степных и былинных, местах.

Да и в том, как мы ждали очереди у пивного ларька, как потом пили пиво – тоже было нечто эпическое. Всё происходило подробно и неторопливо – как в истинном эпосе. Ведь эпосу спешить некуда: он всегда пребывает у цели – а целью ему служит жизнь. Вот мы и наблюдали неторопливо-подробную поселковую жизнь, сами являясь её неотъемлемой частью. За ларьком был широкий, как поле, пустырь; на краю его были сложены бетонные плиты – на них мы и сидели, как на скамьях античного театра – а через пустырь брели поселковые жители: их продвиженье в пространстве напоминало прохождение ими их собственной жизни. Кто-то шёл бодро (таких было мало), другой плёлся устало; кто-то шагал налегке, а кто-то тащил мешок неудобной поклажи; кто-то выписывал пьяные петли, а кто-то шагал напряжённо, как будто преследуя ускользавшую цель. Но все – молодые и старые, мужики, бабы, дети – все они одолевали простор пустыря с очевидным усилием, отдавая ему – пустырю и простору – часть своей жизни. И вот это общее усилие преодоления, оно оставалось как будто висеть над пожухлой травой – над гусятником и подорожником, над полынью и пижмой – как некий длящийся и едва слышный звук, как невидимый след человеческой жизни; и ты понимал, что твоё ощущение этого звука (в ином состоянии вовсе неслышного) – это и есть твоё чувство родины…

В ту погожую осень в Тиму я обрёл главное: собственный голос. Это и впрямь было похоже на исцеление от немоты: когда, после невнятных мычаний, после попыток хоть что-то сказать и отчаяния от невозможности выразить то, что ты хочешь – речь потекла, как прорвавшийся через запруду ручей, торопливо и жадно хватая и унося с собой всё, что попалось ему на пути.

Но и всё-таки, хоть я выше и написал о разлуке с литературною жизнью, я чувствовал: собственная книга мне необходима. Пусть самая скромная, пусть вышедшая мизерным тиражом – но книга была бы тем пропуском в жизнь (причём вовсе не «литературную», а настоящую), без которого я продолжал бы чувствовать собственную невоплощённость и как бы неполноценность. Признаюсь: для меня, молодого, все люди делились даже не столько по национальным или половым признакам, сколько по признаку куда более важному: человек написал свою книгу – или он так и прожил жизнь без собственной книги. И это деление, на первый взгляд столь надуманно-произвольное – несёт в себе, если вдуматься, глубокий онтологический смысл. Человек с собственной книгой – это тот, кто сумел воплотить (пусть неполно и приблизительно, бледно и слабо) то творческое начало, что Создатель вложил в нас, когда мы появились на свет. Причём «книга» – вовсе не обязательно именно книга: в её роли может выступить песня или картина, построенный дом или исполненный танец, научная формула или благоухающий сад. Под «книгой» я понимаю любой воплощённый и закреплённый в реальности творческий акт – но именно воплощённый, а не оставшийся в области чистой мечты и потенции. И я до сих пор думаю, что человек, проживший свою жизнь без «книги» – не исполнил возложенной Богом задачи.

А уж если ты занимаешься литературой уже десять лет – в молодости этот срок почти равен вечности – но у тебя ещё нет собственной книги, то ты начинаешь задумываться: а существуешь ли ты вообще? Может быть, то, что ты пишешь – и что тебе даже снится ночами, в виде ползущей перед глазами полосы бесконечного текста – есть морок и бред, есть какое-то лишь помешательство, от которого следует освободиться? Но, когда ты бросал свою «писанину» и неделю-другую не садился к столу – жизнь становилась совсем уж пуста и бессмысленна.

И вот именно книга, о которой так грезилось – она, как ты верил, могла бы прорвать пелену твоего затянувшегося «полусуществования» и явиться твоей дверью в мир. Но какая там книга, когда вот они: две папки с рукописями, возвращёнными из московских издательств, и вот они – два письма (они и доселе лежат где-то в старых бумагах), из которых ясно, что в обозримом будущем никакой моей книги не выйдет.

Но тогда, может быть, взять, да издать её самому? Времена изменились, и не только в худшую сторону: теперь издание собственной книги перестало быть делом подсудным и рассматриваться, почти как попытка государственного переворота. И, если уж полноценную книгу издать мне не под силу – где взять деньги доктору, которому месяцами не платят зарплату, и чья семья едва сводит концы с концами? – то не попробовать ли издать что-то вроде брошюры: вот, например, те банные очерки, что я так увлечённо писал в Тиму?

Идея возникла, и дело было за малым: как её осуществить? И вот тут меня снова выручила медицина. Среди пациентов оказались и те, кто работали в типографии, и те, кто имел отношение к производству бумаги. Не стану описывать многочисленных встреч, разговоров и согласований, которыми я занимался осенью 1990 года – вспомню лишь несколько эпизодов той осени, которые до сих пор греют память и душу.

За рулоном дешёвой бумаги я отправился в Кондрово – посёлок, где, ещё со времён Пушкина и Гончаровой, велось бумажное производство. Может, когда-нибудь я опишу эту гулкость фабричных цехов, эти чаны, где мокнет и хлюпает макулатура, опишу сквозняки, полумрак, рёв погрузчиков-каров, опишу блеск и вращение мокрых цилиндров, по которым нескончаемо льётся бумажное полотно. Но тогда мне был нужен итог всего этого сложного процесса: огромные рулоны бумаги, стоявшие у дверей погрузочного цеха. Весил такой рулон килограммов триста-четыреста; но я видел, как ловко рабочие катают их по цеху, кантуют, ставят «на попа» и вновь валят набок, чтобы перекатить на новое место. Полюбовавшись на эти богатырские игры, я пошёл в заводоуправление, нашёл там директора, и тот как-то очень легко выписал мне бумагу.

- Забирай! – сказал он дружелюбно. – Вы помогаете нам – а мы вам!

Я, конечно, был счастлив – но как же мне было доставить бумагу в Калугу, за пятьдесят вёрст отсюда? Ни машины, ни денег, чтобы нанять грузовик, у меня не было. Я стоял, растерявшись, в приёмной директора, держа в руках драгоценную накладную на триста пятьдесят килограммов бумаги – и мне стала являться диковатая мысль: а не докатить ли мне свой рулон до Калуги, шагая, да подталкивая его по обочине шоссе? Ведь я видел, как рабочие сноровисто катают бумагу, и за смену «накатывают», возможно,  
 несколько километров; так что ж я, не прокачу пятьдесят? Ну, пусть на это уйдёт дня три-четыре – неужели я не потружусь для первой собственной книги? Воображение заработало, и я живо представил себе и затяжные подъёмы, когда придётся через каждые десять шагов подпирать тяжёлый рулон бруском-башмаком и стоять, привалясь к нему и отдыхая; представил дожди, которые я буду пережидать, укрывая себя и бумагу полиэтиленовой плёнкой; представил ночёвки, когда я буду отрывать от рулона клочки для растопки костра; представил, как будут сигналить и помирать со смеху водители всех попутных и встречных машин, свидетели этой комичной картины: когда человек, словно жук-скарабей за навозным комком, шагает-корячится за огромным рулоном бумаги…

Но не случилось мне совершить этот подвиг жука-скарабея – о чём я, признаться, немного жалею. Одна из общительных женщин-снабженцев, получавшая бумагу для макаронной, помнится, фабрики – заметила мою растерянность, выяснила, в чём дело, и рассмеялась:

- Не горюй, парень! В моём грузовике найдётся место и для твоего рулона. Вот сейчас пообедаем в здешней столовой – да и поедем…

С доставки рулона бумаги в Калугу и началась работа по изданию «Космоса бани». Типография, где делали книгу, была маленькой, набор был ручным, а тамошняя книгопечатная машина была если не детищем – то уж, наверное, прямым правнуком станка Гуттенберга. Теперь-то подобное можно увидеть только в музеях полиграфии; на словах очень трудно описать эту всю восхитительно настоящую, ощутимо-реальную технологию печатного дела. Но только в такой архаической типографии я мог удостоиться радости видеть то, что мало кто видел: текст собственной книги, отлитый в металле.

Это было едва ли не главным впечатлением всей моей жизни. Зайдя, в очередной раз, в типографию – а заходил я нередко: то постоять за плечом наборщицы, то принести клише с рисунками (иллюстрировал книгу я сам), то просто побыть в атмосфере рождения книги – я увидел огромный, метра три на четыре, верстальный стол – на котором мерцало горячее серебристо-свинцовое озеро.

- Что это? – спросил я изумлённо у директора типографии.

- Это? – улыбнулась она. – А это, Андрей, набор вашей книги. Любуйтесь!

Передать, что испытывал я в те минуты, почти невозможно: разум не поспевал осмысливать то, что я чувствовал – а чувства растерянно вопрошали рассудок: что же это такое? Неужели те самые строки, что ложились на тетрадные листы под запах антоновки, на рассвете тимских ясных дней – теперь отлиты в металле, и торжественно-жарко мерцают, как бы сознавая свою завершённость и полноту? Неужели те мысли и чувства, что клубились во мне, когда я вспоминал гулкость мыльного зала, запах берёзовых веников или сумрачный жар раскалённой парильной печи – неужели всё это теперь перешло из туманного мира идей в осязаемо-плотный, вещественный мир объективной реальности?

Можно сказать, что в этот момент я воочию видел и чувствовал связь меж платоновским миром идей – и реальною жизнью. И я долго-долго, в каком-то блаженном оцепенении, смотрел на отлитый в металле текст, впервые со всей очевидностью чувствуя, что я, наконец-то, стал автором книги – то есть впервые и сам, во всей полноте, появился на свет…

Калуга, 2017г.